

A photograph of a bouquet of lilacs in a white vase. The bouquet consists of several clusters of small, bell-shaped flowers in shades of purple and pink, interspersed with green leaves. Some clusters are white. The vase is white and cylindrical. In the foreground, on a light-colored surface, lies a small branch with a cluster of purple lilac flowers and green leaves. The background is a textured, greyish-brown wall.

РОБЕРТ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

*«Все начинается
с любви...»*

АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Роберт Рождественский
Все начинается с любви...

«Азбука-Аттикус»

2022

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-5

Рождественский Р. И.

Все начинается с любви... / Р. И. Рождественский — «Азбука-Аттикус», 2022 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-21902-1

Роберт Рождественский – один из самых известных русских поэтов второй половины XX века. Наряду с Е. Евтушенко, Б. Ахмадулиной, А. Вознесенским и Б. Окуджавой Рождественский вошел в «главную поэтическую обойму» поколения шестидесятников и стал символом «оттепели», эпохи свободы и романтических надежд на светлое будущее. Гражданственность и пафос, которые отличают многие стихи Роберта Рождественского, соединились в его творчестве с глубоко личным отношением ко всему происходящему, кристальной искренностью и чистотой душевных переживаний. «То, что я делал, я делал всегда честно. У меня никогда не было строчек от лукавого...» – с полным правом мог сказать о себе поэт. Стихи Роберта Рождественского нашли отклик у миллионов читателей, его книги выходили огромными тиражами, а песни, положенные на его строки с их особой щемящей интонацией, знала наизусть вся страна; большинство из этих песен поют до сих пор. Среди них «Мгновения», «Эхо любви», «Огромное небо», «Придет и к вам любовь», «Притяженье земли», «Песня о далекой родине», «Мои года» и многие другие. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-5

ISBN 978-5-389-21902-1

© Рождественский Р. И., 2022

© Азбука-Аттикус, 2022

Содержание

Утро	6
«Приходить к тебе...»	6
Моя любовь	7
«Слова бывают грустными...»	10
Письмо домой	11
Утро	13
Без тебя	16
«Я уехал...»	18
«Восемьдесят восемь»	20
Мираж	23
Нелетная погода	25
Ровесникам	28
Часы	30
Необитаемые острова	32
В сорок третьем	34
Игра в «Замри!»	36
Богини	38
«Будь, пожалуйста, послабее...»	40
Ливень	42
Жизнь	44
Творчество	45
Реквием	47
«Нахожусь ли в дальних краях...»	51
Сын Веры	52
Таежные цветы	54
«Нахохлятся тяжелые колосья...»	56
«Отволнуюсь...»	57
Так и надо	59
«Я родился...»	60
Концерт	62
«Почем фунт лиха?...»	64
«Я жизнь люблю безбожно...»	66
Солнце	67
Друг	68
Костер	70
Памяти Хемингуэя	71
Оттуда	72
История	74
«Кем они были в жизни...»	76
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Роберт Рождественский

Все начинается с любви...

Утро

«Приходить к тебе...»

А. К.

Приходить к тебе,
чтоб снова
просто вслушиваться в голос
и сидеть на стуле, сгорбясь,
и не говорить ни слова.
Приходить,
стучаться в двери,
замирая, ждать ответа...
Если ты узнаешь это,
то, наверно, не согласишься,
то, конечно, захочешь,
скажешь:
«Это ж глупо очень...»
Скажешь:
«Тоже мне —
влюбленный!» —
и согласишься удивленно,
и не согласишься на месте.
Будет смех звенеть рекою...

Ну и ладно.
Ну и смейся.
Я люблю тебя
такою.

Моя любовь (Из поэмы)

Поэма началась в груди,
грудь разорвать грозя.
Теперь ее,
 как ни крути,
не написать
 нельзя.
Я ею бредил по ночам,
берег ее, как жизнь.
Я на руках ее качал
и повторял:
 – Пишись!
Пишись! —
я требовал,
 но мне
ответил ворох строк:
– Постой!
А был ли ты в огне?
Месил ли
 пыль дорог?
Встречал ли ты в атаке смерть?
Привык ли ты дерзать?
И так ли знаешь жизнь,
чтоб сметь
о ней другим сказать?.. —
Сердце,
а что я знаю?
Ты подскажи мне тихо.
Знаю, что на Алтае
было село Косиха.
Было село —
 я знаю —
крошечного значенья...
В речке вода парная
после грозы вечерней...
Сердце,
а что я помню?
Лес голубой стеною.
Помню – уходят кони
через село в ночное.
Помню еще я:
 мама
на руки поднимала...
Сердце,
но это ж мало!

Это же очень мало!
Возле глухой ограды
чуть шелестит отава...
Сердце,
 а может, правда,
я не имею права?
Пусть, затихая,
 песня
будет на жизнь в обиде —
что расскажу я,
 если
очень немного
 видел.
Если мир перед глазами
был на диво мал...
Мы о нем узнали сами
и из сказок мам.
Нам о нем твердили в школе:
чуть ли не с шести
мы учили,
что такое
дальние пути,
что такое гнев и жалость,
что такое честь...
Мы учились.
Нам казалось:
это
 жизнь и есть.
Мы учились,
 а взглядеться —
окажусь я неучем,
потому что,
 кроме детства,
и сказать-то не о чем.
Вновь иди,
 слова ищи
за семью широтами...
Вышли в жизнь товарищи
слишком желторотыми.
Вышли в жизнь романтики,
ум
у книг занявшие,
кроме
 математики,
сложностей не знавшие.

...Впервые взаправду дорога качала,
впервые мечты повели за собою,
впервые любовь

подказала начало
поэмы,
которая стала судьбою.
Сквозные вокзалы
и запахи дыма,
гудков паровозных протяжная медь,
слова,
что я говорил любимой,
мне приказали
сметь.

«Слова бывают грустными...»

Слова бывают грустными,
слова бывают горькими.
Летят они по проводам
низинами,
пригорками.
В конвертах запечатанных
над шпалами стучат они,
над шпалами,
над кочками:
«Все кончено.
Все
кончено...»

Письмо домой

Мама, что ты знаешь о ней?
Ничего.
Только имя ее.
Только и всего.
Что ты знаешь,
заранее обвиня
ее в самых ужасных грехах земли?
Только сплетни,
которые в дом приползли,
на два месяца опередив меня.
Приползли.
Угол выбрали потемней.
Нашептали и стали, злорадствуя, ждать:
чем, мол, встретит сыночка
родная мать?
Как, мол, этот сыночек ответит ей?
Тихо шепчут они:
— Дыму нет без огня. —
Причитают:
— С такую семья — не семья. —
Подхихикивают...
Но послушай меня,
беспокойная мама моя.
Разве можешь ты мне сказать:
не пиши?
Разве можешь ты мне сказать:
не дыши?
Разве можешь ты мне сказать:
не живи?
Так зачем говоришь:
«Людей не смеси»,
говоришь:
«Придет еще время любви»?

Мама, милая!
Это все не пустяк!
И ломлюсь не в открытые двери я,
потому что знаю:
принято так
говорить своим сыновьям, —
говорить:
«Ты думай пока не о том», —
говорить:
«Подожди еще несколько лет,
настоящее самое будет потом...»

Что же, может, и так...
Ну а если – нет?
Ну а если,
 решив переждать года,
сердцу я солгу и, себе на беду,
мимо самого светлого счастья пройду, —
что тогда?..

Я любовь такую искал,
чтоб —
 всего сильней!
Я тебе никогда не лгал!
Ты ведь верила мне.
Я скрывать и теперь ничего не хочу.
Мама, слезы утри,
 печали развей —
я за это жизнью своей заплачу.
Но поверь —
 я очень прошу! —
 поверь
в ту, которая в жизнь мою светом вошла,
стала воздухом мне,
 позвала к перу,
в ту, что сердце так бережно в руки взяла,
как отцы новорожденных только берут.

Утро

Владимиру Соколову

Есть граница между ночью и утром,
между тьмою
и зыбким рассветом,
между призрачной тишью
и мудрым
ветром...

Вот осиновый лист трясется,
до прожилок за ночь промокнув.
Ждет,

когда появится солнце...

В доме стали заметней окна.

Спит,

раскинув улицы,

город,

все в нем —

от проводов антенных

до замков,

до афиш на стенах, —

все полно ожиданием:

скоро,

скоро!

скоро!! —

вы слышите? —

скоро

птицы грянут звонким обвалом,

растворятся,

сгинут туманы...

Темнота заползает

в подвалы,

в подворотни,

в пустые карманы,

наклоняется над часами,

смотрит выцветшими глазами

(ей уже не поможет это),

и она говорит голосами

тех,

кто не переносит

света.

Говорит спокойно вначале,

а потом клопоча от гнева:

— Люди!

Что ж это?

Ведь при мне вы
тоже кое-что
различали.
Шли,
с моею правдой не ссорясь,
хоть и медленно,
да осторожно...
Я темней становилась нарочно,
чтобы вас не мучила совесть,
чтобы вы не видели грязи,
чтобы вы себя
не корили...
Разве было плохо вам?
Разве
вы об этом тогда
говорили?
Разве вы тогда понимали
в беспокойных красках рассвета?
Вы за солнце
луну принимали.
Разве я
виновата в этом?

Ночь, молчи!
Все равно не перекричать
разрастающейся в полнеба зари.
Замолчи!
Будет утро тебе отвечать.
Будет утро с тобой говорить.

Ты себя оставь
для своих льстецов,
а с такими советами к нам
не лезь —
человек погибает в конце концов,
если он скрывает
свою болезнь.
...Мы хотим оглядеться
и вспомнить теперь
тех,
кто песен своих не допел до утра...
Говоришь,
что грязь не видна при тебе?
Мы хотим ее видеть!
Ты слышишь?
Пора
знать,
в каких притаилась она углах,
в искаженные лица врагов взглянуть,

чтобы руки скрутить им!
Чтоб шеи свернуть!
...Зазвенели будильники на столах.
А за ними
 нехотя, как всегда,
коридор наполняется скрипом дверей,
в трубах
 с клекотом гулким проснулась вода.

С добрым утром!
Ты спишь еще?
Встань скорей!
Ты сегодня веселое платье надень.
Встань!
Я птицам петь для тебя велю.
Начинается день.
Начинается
 день!
Я люблю это время.
Я
жизнь люблю!

Без тебя

Алене

Хотя б во сне давай увидимся с тобой.
Пусть хоть во сне
твой голос зазвучит...

В окно —

не то дождем,
не то крупой
с утра заладило.

И вот стучит, стучит...

Как ты необходима мне теперь!

Увидеть бы.

Запомнить все подряд...

За стенкою о чем-то говорят.

Не слышу.

Но, наверно, — о тебе!..

Наверное,

я у тебя в долгу,
любовь, наверно, плохо берегу:
хочу услышать голос —

не могу!

Лицо пытаюсь вспомнить —

не могу!

...Давай увидимся с тобой хотя б во сне!

Ты только скажешь, как ты там.

И все.

И я проснусь.

И легче станет мне...

Наверно, завтра

почта принесет

письмо твое.

А что мне делать с ним?

Ты слышишь?

Ты должна понять меня —

хоть авиа,

хоть самым скоростным,

а все равно пройдет четыре дня.

Четыре дня!

А что за эти дни

случилось —

разве в письмах я прочту?!

Как эхо от грозы, придут они...

Давай увидимся с тобой —
 я очень жду —
хотя б во сне!
А то я не стерплю,
в ночь выбегу
 без шапки,
 без пальто...
Увидимся давай с тобой,
 а то...

А то тебя сильнее я люблю.

«Я уехал...»

Я уехал
от весны,
от весенней кутерьмы,
от сосулечной
апрельской,
очень мокрой бахромы.
Я уехал от ручьев,
от мальчишечьих боев,
от нахохлившихся почек
и нахальных воробьев,
от стрекота сорочьего,
от нервного брожения,
от головокружения
и прочего,
и прочего...
Отправляясь в дальний путь
на другой конец страны,
думал:
«Ладно!
Как-нибудь
проживем и без весны...
Мне-то, в общем,
все равно —
есть она или нет ее.
Самочувствие мое
будет неизменным...»
Но...
За семь тысяч верст,
в Тикси,
прямо среди бела дня
догнала весна
меня
и сказала:
«Грязь меси!»
Догнала, растеребя,
в будни ворвалась
и в сны.
Я уехал
от весны...
Я уехал
от тебя.
Я уехал в первый раз
от твоих огромных глаз,
от твоих горячих рук,
от звонков твоих подруг,

от твоих горячих слез
самолет меня
унес.
Думал:
«Ладно!
Не впервой!
Покажу характер свой.
Хоть на время
убегу...
Я ведь сильный,
я —
смогу...»
Я не мерил высоты.
Чуть видна земля была...
Но увидел вдруг:
вошла
в самолет летящий
ты!
В ботах,
в стареньком пальто...
И сказала:
«Знаешь что?
Можешь не убегать!
Все равно у тебя из этого
ничего не получится...»

«Восемьдесят восемь»

Сочетание «88-С» по коду радистов означает «целую».

Понимаешь,
трудно говорить мне с тобой:
в целом городе у вас —
 ни снежинки.
В белых фартучках
 школьницы идут
 гурьбой,
и цветы продаются на Дзержинке.
Там у вас — деревья в листве...
А у нас —
за версту,
 наверное,
 слышно, —
будто кожа новая.
Поскрипывает наст,
а в субботу будет кросс
лыжный...

Письма очень долго идут.
Не сердись.
Почту обвинять
 не годится...
Рассказали мне:
жил один влюбленный радист
до войны на острове Диксон.
Рассказали мне:
 был он
не слишком смел
и любви привык
 сторониться.
А когда пришла она,
 никак не умел
с девушкой-радисткой
 объясниться...
Но однажды
в вихре приказов и смет,
график передачи ломая,
выбил он:
«ЦЕЛЮЮ!»
И принял в ответ:
«Что передаешь?
Не понимаю...»

Предпоследним словом
 себя обозвав,
парень объяснения не бросил.
Попелуй
восьмерками зашифровав,
он отстукал:
«ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ!»
Разговор дальнейший
был полон огня:
«Милая,
пойми человека!
„Восьмьдесят восьмь!“
Как слышно меня?
„Восьмьдесят восьмь!“
Проверка».

Он выстукивал восьмерки
 упорно и зло.
Днем и ночью.
В зиму и в осень.
Он выстукивал,
 пока
в ответ не пришло:
«Понимаю,
восьмьдесят восьмь!...»

Я не знаю,
 может,
все было не так.
Может —
более обыденно,
 пресно...
Только верю твердо:
жил такой чудак!
Мне в другое верить
неинтересно...

Вот и я
молчание
 не в силах терпеть!
И в холодную небесную просинь
сердцем
 выстукиваю
 тебе:
«Милая!
Восьмьдесят восьмь!...»
Слышишь?
Эту цифру я молнией шлю.
Мчат ей

через горы и реки...
Восемьдесят восемь!
Очень люблю.
Восемьдесят восемь!
Навеки.

Мираж

Дежурный закричал:
– Скорей сюда!
Мираж!
Смотрите!
Все сюда!
Скорей!.. —
И резко отодвинута еда.
И мы вываливаемся из дверей.

Я ждал всего.
Я был готов к любому:
к цветам и пальмам
в несколько рядов,
к журчащему прибою голубому,
к воздушным башням
древних городов.

Ведь я читал,
как над песком
бесстыдно
вставали
эти памятники лжи.

Ведь я читал,
как жителей пустыни
с дороги уводили
миражи...

Ведь я читал,
ведь я об этом знаю:
слепящим днем,
как в полной темноте,
шагали
люди,
солнце проклиная,
брели
к несуществующей воде.
Но здесь...

– Да где мираж?!
– А очень просто.
Туда смотри!..

Я замер,
поражен:
на горизонте
плавали
торосы
вторым,

не очень ясным этажом.
Они переливались
и дрожали...
Я был готов к любому.
Ждал всего...
Но Арктика!
Ты даже
миражами
обманывать
не хочешь никого.

Нелетная погода

Нет погоды над Диксоном.
Есть метель.
Ветер есть. И снег.
А погоды нет.
Нет погоды над Диксоном третий день.
Третий день подряд
мы встречаем рассвет
не в полете,
который нам по душе,
не у солнца,
слепящего яростно,
а в гостинице.
На втором этаже.
Надоевшей.
Осточертевшей уже.
Там, где койки стоят в два яруса.
Там, где тихий бортиштурман Леша
снисходительно,
полулежа,
на гитаре играет,
глядя в окно,
вальс задумчивый
«Домино».
Там, где бродят летчики по этажу,
там, где я тебе это письмо пишу,
там, где без рассуждений
почти с утра —
за три дня,
наверно, в десятый раз —
начинается «северная» игра —
преферанс.
Там, где дни друг на друга похожи,
там, где нам
ни о чем не спорится...
Ждем погоды мы.
Ждем в прихожей
Северного полюса.
Третий день
погоды над Диксоном нет.
Третий день.

А кажется:
двадцать лет!
Будто нам эта жизнь двадцать лет под стать,
двадцать лет, как забыли мы слово:

летать!

И обидно.
И некого вроде винить.
Телефон в коридоре опять звонит.
Вновь синоптики,
самым святым клянясь,
обещают на завтра
вылет
для нас.

И опять, как в насмешку,
приходит с утра
завтра,
слишком похожее
на вчера.
Улететь —
дело очень нелегкое,
потому что погода —
нелетная.

...Самолеты охране поручены.
Самолеты к земле прикручены,
будто очень опасные
звери они,
будто вышли уже
из доверья они,
Будто могут
плюнуть они на людей —
на пилотов,
механиков
и радистов.
И туда, где солнце.
Сквозь тучи.

Над Диксоном
третий день погоды нет.
Третий день.
Рисковать приказами запрещено.

Тихий штурман Леша
глядит в окно.
Тихий штурман
наигрывает «Домино».
Улететь нельзя все равно
ни намеренно,
ни случайно,
ни начальникам,
ни отчаянным —
никому.

Ровесникам

Артуру Макарову

Знаешь, друг,
мы, наверно, с рожденья
такие...
Сто разлук нам пророчили
скорую гибель.
Сто смертей
усмехались беззубыми ртами.
Наши мамы
вестей
месяцами от нас ожидали...

Мы росли —
поколение
рвущихся плавать.
Мы пришли
в этот мир,
чтоб смеяться и плакать,
видеть смерть
и, в открытое море бросаясь,
песни петь,
целовать неприступных красавиц!
Мы пришли
быть,
где необходимо и трудно...
От земли
города поднимаются круто.
Век
суров.
Почерневшие реки
дымятся.
Свет костров
лег на жесткие щеки
румянцем...
Как всегда,
полночь смотрит
немыми глазами.

Поезда
отправляются по расписанью.
Мы ложимся спать.
Кров родительский
сдержанно хвалим...
Но

опять
уезжаем,
летим,
отплываем!
Двадцать раз за окном
зори
алое знамя подымут...

Знаю я:
мы однажды уйдем
к тем,
которые сраму
не имеют.
Ничего
не сказав.
Не успев попрощаться.
Что
с того?
Все равно: это —
слышишь ты? —
счастье:
сеять хлеб
и смеяться
в ружейные дула...
Жить захлеб!
Это здорово кто-то придумал!

Часы

– Идут часы...
– Подумаешь,
открыть!
Исправны, значит...
Приобрел —
носи...

– Я не о том!
На улицу смотрите:
по утренней земле
идут часы!
Неслышные, торопятся минуты,
идут часы,
стучат ко мне в окно.
Идут часы,
и с ними разминуться,
не встретить их
живущим не дано...
Часы недлинной жизни человека,
увидите —
я вас перехитрю!
Я в дом вбегу.
Я дверь закрою крепко.
Теперь стучите —
я не отворю!..

Зароешься,
закроешься,
не вступишь,
свои часы дареные испортишь,
забудешь время
и друзей забудешь,
и замолчишь,
и ни о чем не вспомнишь.
Гордясь уютной тишиной квартиры
и собственной хитростью
лучась,

скорее
двери забаррикадируй!..

Но час
придет!
Неотвратимый час.
Наступит он в любое время года

на мысли,
на ленивые мечты.
Наступит час
на сердце и на горло...
И, в страхе за себя,
очнешься ты!..
И разобьет окошко
мокрый ветер.
И хлынут листья
в капельках росы...
Услышишь:
бьют часы!
И вслед за этим
почувствуешь:
наотмашь
бьют
часы!

Необитаемые острова

Снятся усталым спортсменам рекорды.
Снятся суровым поэтам слова.
Снятся влюбленным
в огромном городе
необитаемые
острова.

Самые дальние,
самые тайные,
ветру открытые с трех сторон,
необнаруженные,
необитаемые,
принадлежащие тем,
кто влюблен.

Даже отличник
очень старательный
их не запомнит со школьной скамьи, —
ведь у влюбленных
своя география!
Ведь у влюбленных
карты
свои!
Пусть для неверящих
это в новинку —
только любовь
предъявила
права.
Верьте:
не сказка,
верьте:
не выдумка —
необитаемые острова!..

Все здесь простое,
все самое первое —
ровная,
медленная река,
тонкие-тонкие,
белые-белые,
длинные-длинные
облака.

Ветры,
которым под небом не тесно,

птицы,
поющие нараспев,
море,
бессонное,
 словно сердце,
горы,
уверенные в себе.
Здесь водопады
 литые,
 летающие,
мягкая,
трепетная трава...
Только для любящих
 по-настоящему
эти
великие острова!..
Двое на острове.
Двое на острове.
Двое – и все!..
А над ними —
 гроза.
Двое – и небо тысячеверстное.
Двое – и вечность!
И звезды в глаза.
Это не просто.
Это не просто.
Это сложнее любого
 в сто крат...
В городе стихшем
на перекрестках
желтым огнем светофоры горят.
Меркнет
 оранжевый отблеск неона.
Гаснут рекламы,
гуденье прервав...

Тушатся окна,
тушатся окна
в необитаемых
 островах.

В сорок третьем

Везет
на фронт
мальчика
товарищ военный врач...
Мама моя,
мамочка,
не гладь меня,
не плачь!
На мне военная форма, —
не гладь меня при других!
На мне военная форма,
на мне
твои сапоги.
Не плачь!
Мне почти двенадцать,
я взрослый
почти...
Двоятся,
двоятся,
двоятся
рельсовые пути...
В кармане моем документы, —
печать войсковая строга.
В кармане моем документы,
по которым
я – сын полка.
Прославленного,
гвардейского,
проверенного в огне...
Я еду на фронт.
Я надеюсь,
что браунинг выдадут мне.
Что я в атаке
не струшу,
что время мое пришло.

Завидев меня,
старухи
охают тяжело:
«Сыночек...
Солдатик маленький...
Вот ведь
настали дни...»
Мама моя,
мамочка!

Скорей им все объясни!
Скажи,
чего это ради
они надо мной ревут?
Зачем
они меня гладят?
Зачем сыночком
зовут?
И что-то шепчут невнятно,
и темный суют калач...

Россия моя,
не надо!
Не гладь меня!
И не плачь!
Не гладь меня!
Я просто
будущий сын полка.
И никакого геройства
я не совершил
пока!
И даже тебе не ясно,
что у меня впереди...

Двоятся,
двоятся,
двоятся
рельсовые пути...
Поезд идет размеренно,
раскачиваясь нелепо, —
длинный
и очень медленный,
как очередь
за хлебом...

Игра в «Замри!»

Ю. Овсянникову

Игра в «Замри!» —
 веселая игра...
Ребята с запыленного двора,
вы помните —
 с утра и до зари
звенело во дворе:
«Замри!..»
«Замри!..»
Порой из дома выйдешь, на беду, —
«Замри!» —
и застываешь на бегу
в нелепой позе
 посреди двора...
Игра в «Замри!» —
далекая игра,
зачем ты снова стала мне нужна?
Вдали от детства
 посреди земли
попробовала женщина одна
сказать мне позабытое:
«Замри!»
Она сказала:
 будь неумолим.
Замри!
И ничего не говори.
Замри! —
 она сказала. —
Будь
 моим!
Моим – и все!
А для других —
 замри!
Замри для обжигающей зари,
Замри для совести.
Для смелости замри.
Замри,
не горячась и не скорбя.
Замри!
Я буду миром
 для тебя!..

На нас глядели звездные миры.
И ветер трогал жесткую траву...

А я не вспомнил
правила игры.

А я ушел.

Не замер.

Так живу.

Богини

Давай покинем этот дом,
давай покинем, —
нелепый дом,
набитый скукою и чадом.
Давай уйдем к своим домашним богиням,
к своим уютным богиням,
к своим ворчащим...
Они, наверно, ждут нас?
Ждут.
Как ты думаешь?
Заварен чай,
крепкий чай.
Не чай — а деготь!
Горят цветные светляки на низких тумбочках,
от пронсящих машин
дрожат стекла...
Давай пойдем, дружище!
Из-за стола встанем.
Пойдем к богиням,
к нашим судьям бессонным.
Где нам обоим
приговор уже составлен.
По меньшей мере мы приговорены —
к ссоре...
Богини сидят,
в немую тьму глаза тараща.
И в то,
что живы мы с тобою,
верят слабо...
Они ревнивы так,
что это даже страшно.
Так подозрительны,
что это очень странно.
Они придумывают разные разности,
они нас любят горячо и неудобно.
Они всегда считают
самой высшей радостью
те дни, когда мы дома.
Просто дома...
Москва ночная спит
и дышит глубоко.
Москва ночная
до зари ни с кем не спорит...

Идут к богиням

два не очень трезвых
бога.
Желают боги одного:
быть собою.

«Будь, пожалуйста, послабее...»

Будь, пожалуйста, послабее.
Будь, пожалуйста.
И тогда подарю тебе я
чудо
запросто.
И тогда я вымахну-вырасту,
стану особенным.
Из горящего дома вынесу
тебя,
сонную.
Я решусь на все неизвестное,
на все безрассудное, —
в море брошусь,
густое,
зловещее, —
и спасу тебя!..
Это будет
сердцем велено мне,
сердцем велено...

Но ведь ты же
сильнее меня,
сильней
и уверенней!
Ты сама готова пасти других
от уныния тяжкого.
Ты сама не боишься ни свиста пурги,
ни огня хрустящего.
Не заблудишься,
не утонешь,
зла не накопишь.
Не заплачешь
и не застонешь,
если захочешь.
Станешь плавной
и станешь ветреной,
если захочешь.
Мне с тобою —
такой уверенной —
трудно
очень.

Хоть нарочно,
хоть на мгновенье, —
я прошу,

робея:
помоги мне в себя поверить!
Стань
слабее.

Ливень

Аленке

– Погоди!.. —
А потом тишина и опять:
– Погоди...
К потемневшей земле
 неподатливый сумрак прижат.
Бьют по вздувшимся почкам
 прямые, как правда,
 дожди.
И промокшие птицы
на скрюченных ветках дрожат...
Ливень мечется?
Пусть.
Небо рушится в ярости?
Пусть!
Гром за черной горою
 протяжно и грозно храпит...
Погоди!
Все обиды забудь.
Все обиды забудь...
Погоди!
Все обиды забыл я.
До новых
 обид...
Хочешь,
 высушу птиц?
Жарким ветром в лесах просвищу?
Хочешь,
 синий цветок принесу из-за дальних морей?
Хочешь,
завтра тебе
озорную зарю посвящу.
Напишу на заре:
«Это ей
 посвящается.
Ей...»

Сквозь кусты продираясь,
 колышется ливень в ночи.
Хочешь,
тотчас исчезнет
 свинцовая эта беда?..
Погоди!
Почему ты молчишь?

Почему ты молчишь?
Ты не веришь мне?
Верь!
Все равно ты согласишься,
 когда
отгрохочут дожди.
Мир застынет,
 собой изумлен.
Ты проснешься.
Ты тихо в оконное глянешь стекло
и увидишь сама:
над землей,
 над огромной землей
сердце мое,
сердце мое
 взошло.

Жизнь

Г. П. Гроденскому

Живу, как хочу, —
светло и легко.
Живу, как лечу, —
высоко-высоко.
Пусть небу
 смешно,
но отныне
ни дня
не будет оно
краснеть за меня...
Что может быть лучше —
собрать облака
и выкрутить тучу
над жаром
 песка!
Свежо и громадно
поспорить с зарей!
Ворочать громами
над черной землей.
Раскидистым молниям
душу
открыть,
над миром,
над морем
раздольно
 парить!
Я зла не имею.
Я сердцу не лгу.
Живу, как умею.
Живу, как могу.
Живу, как лечу.
Умру,
 как споткнусь...
Земле прокричу:
«Я ливнем
вернусь!»

Творчество

Э. Неизвестному

Как оживает камень?
Он сначала
не хочет верить
 в правоту резца...
Но постепенно
из сплошного чада плывет лицо.
Верней —
 подобие лица.
Оно ничье.
Оно еще безгласно.
Оно еще почти не наяву.
Оно еще
безропотно согласно
принадлежать любому существу.
Ребенку,
 женщине,
 герою,
 старцу...
Так оживает камень.
Он —
 в пути.
Лишь одного не хочет он:
остаться
таким, как был.
И дальше не идти...
Но вот уже
 с мгновением великим
решимость Человека сплетена.
Но вот уже
 грудным, просящим криком
вся мастерская
до краев полна:
«Скорей!
 Скорей, художник!
Что ж ты медлишь?
Ты не имеешь права
 не спешить!
Ты дашь мне жизнь!
Ты должен.
Ты сумеешь.
Я жить хочу!
Я начинаю
 жить.

Поверь в меня светло и одержимо.
Узнай!
Как почку майскую, раскрой.
Узнай меня!
Чтоб по гранитным жилам
пошла
толчками
каменная кровь.
Поверь в меня!..
Высокая,
живая,
по скошенной щеке
течет слеза...
Смотри!
Скорей смотри!
Я открываю
печальные
гранитные глаза.
Смотри:
я жду вправдашнего ветра.
В меня уже вошла
твоя весна!..»
А человек,
который создал
это,
стоит и курит около окна.

Реквием (Из поэмы)

Вечная
 Слава
 Героям!
Вечная слава!
Вечная слава!
Вечная
 слава
 героям!
Слава героям!
Слава!!
...Но зачем она им,
 эта слава, —
мертвым?
Для чего она им,
 эта слава, —
павшим?
Все живое —
спасшим.
Себя —
не спасшим.
Для чего она им,
 эта слава, —
мертвым?..
Если молнии в тучах заплещутся жарко
и огромное небо
от грома оглохнет,
если крикнут
 все люди земного шара —
ни один из погибших
даже не вздрогнет.
Знаю:
солнце
 в пустые глазницы не брызнет!
Знаю:
песня
 тяжелых могил не откроет!
Но от имени
 сердца,
от имени
 жизни
повторяю:
Вечная
Слава
Героям!..

И бессмертные гимны,
прощальные гимны
над бессонной планетой
 плывут величаво...
Пусть
 не все герои —
те,
кто погибли, —
павшим
Вечная слава!
Вечная слава!..
Вспомним всех поименно,
горем
 вспомним
 своим...
Это нужно —
не мертвым!
Это надо —
живым!
Вспомним
 гордо и прямо
погибших в борьбе...
Есть
 великое право:
забывать о себе!
Есть
 высокое право:
пожелать и посметь!..
Стала
вечною славой
мгновенная
смерть!
...Помните!
Через века,
 через года —
помните!
О тех,
кто уже не придет
 никогда, —
помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти
 павших
 будьте достойны!
Вечно
достойны!
Хлебом и песней,

мечтой и стихами,
жизнью просторной,
каждой
 секундой,
каждым
 дыханьем
будьте достойны!
Люди!
Покуда сердца
 стучатся —
помните!
Какою ценой
завоевано счастье —
пожалуйста,
 помните!
Песню свою
 отправляя в полет —
помните!
О тех,
кто уже никогда не споет, —
помните!
Детям своим
 расскажите о них,
чтоб запомнили!
Детям
 детей
расскажите о них,
чтобы тоже
запомнили!
Во все времена
 бессмертной Земли
помните!
К мерцающим звездам
 ведя корабли —
о погибших
помните!
Встречайте трепетную весну,
люди Земли.
Убейте
 войну,
прокляните
войну,
люди Земли!
Мечту пронесите через года
и жизнью наполните!..
Но о тех,
кто уже не придет
 никогда, —
заклинаю —

помните!

«Нахожусь ли в дальних краях...»

Нахожусь ли в дальних краях,
ненавижу или люблю, —
от большого,
от главного
я —
четвертуйте —
не отступлю.
Расстреляйте —
не изменю
флагу
цвета крови моей.

Эту веру я свято храню
девять тысяч
нелегких дней.
С первым вздохом,
с первым глотком
материнского молока
эта вера со мной.

И пока
я с дорожным ветром
знаком,
и пока не сгибаясь
хожу
по не ставшей пухом земле,
и пока я помню о зле,
и пока с друзьями дружу,
и пока не сгорел в огне,
эта вера
будет жива.

Чтоб ее уничтожить во мне,
надо сердце убить
сперва.

Сын Веры

Ю. Могилевскому

Я —
сын Веры...
Я давно не писал тебе писем,
Вера Павловна.
Унесли меня ветры,
напевали мне ветры
то нахально,
то грозно,
то жалобно.
Я – сын Веры.
О, как помогла ты мне, мама!
Мама Вера...
Ты меня на вокзалах пустых обнимала,
мама Вера.
Я —
сын Веры.
Непутевого сына
ждала обратно
мама Вера...
И просила в письмах
писать только правду
мама Вера...
Я —
сын Веры!
Веры не в Бога,
не в ангелов, не в загробные штуки!
Я —
сын веры в солнце,
которое хлещет
сквозь рваные тучи!
Я —
сын веры в труд человека.
В цветы на земле обгорелой.
Я —
сын веры!
Веры в молчанье
под пыткой!
И в песню
перед расстрелом!
Я —
сын веры в земную любовь,
ослепительную, как чудо.
Я —

сын веры в Завтра —
такое,
какое хочу я!
И в людей,
как дорога, широких!
Откровенных.
Стоящих...
Я —
сын веры,
презираю хлюпиков!
Ненавижу плаксивых и стонущих!..
Я пишу тебе правду,
мама Вера.
Пишу только правду...
Дел – по горло!
Прости,
я не скоро
вернусь обратно.

Таетжные цветы

Не привез я таетжных цветов —
извини.
Ты не верь, если скажут, что плохи
они.
Если кто-то соврет,
что об этом читал...
Просто
эти цветы
луговым не чета!
В буреломах
на кручах
пылают жарки,
как закат,
как облитые кровью желтки.
Им не стать украшеньем
городского
стола.
Не для них
отшлифованный блеск
хрусталя.
Не для них!
И они не поймут никогда,
что вода из-под крана —
это тоже вода...
Ты попробуй сорви их!
Попробуй сорви!
Ты их держишь,
и кажется,
руки в крови!..
Но не бойся,
цветы к пиджаку приколи.

Только что это?
Видишь?
Лишившись земли,
той,
таежной,
неласковой,
гордой земли,
на которой они на рассвете взошли,
на которой роса
и медвежьи следы,
начинают стремительно вянуть
цветы!
Сразу гаснут они.

Тотчас гибнут они...

Не привез я
таежных цветов.
Извини.

«Нахохлятся тяжелые колосья...»

Нахохлятся тяжелые колосья
по всей земле,
 размякшей и огромной.
Потом настанет осень.
Хлынет осень,
сиреневым морозом
 травы тронув.
И длинный дождь,
 с три короба наплавав,
лесную чащу с головой накроет,
разлапистые листья покоробит...
Опавшие,
в оранжевых крапах,
они цветным пластом на землю лягут
и будут глухо чавкать под ногами.
И вспоминать
 о светлом птичьей гаме,
о месяце грибов и спелых ягод...
И медленное солнце будет таять.
И незаметно
 удлинится время.
И в сотый раз
 я не смогу представить,
как выглядят
июньские деревья.

«Отволнуюсь...»

Отволнуюсь.
Отлюблю.
Отдышу.
И когда последний час
грянет, звеня, —
несговорчивую смерть попрошу
дать пожить мне.
Хотя б два дня.
И потом
с нелегким холодом в боку —
через десять тысяч
дорог —
на локтях,
изодранных в кровь,
я сюда
себя
приволеку!..
Будет смерть за мною тихо ковылять.
Будет шамкать:
«Обмануть норовишь?!»
Будет, охая, она повторять:
«Не надейся...
Меня
не удивишь...»
Но тогда я ей скажу:
«Сама смотри!»
И на Ниду,
как сегодня,
как всегда,
хлынут
бешеные краски зари!

Станет синею-пресинею
вода.
Дюны вздрогнут,
круто выгнув хребты,
будто львицы,
готовые к прыжку.
И на каждую из них с высоты
упадет
по голубому цветку.
Пробежит по дюнам ветер,
и они
замурлычат,
перейдя на басы,

А потом уснут,
в закат уронив
желтоватые
 мокрые носы.
Задевая за тонкие лучи,
будут птицы над дюнами звенеть.
И тогда —
 хотите верьте или нет —
закричу не я,
а смерть закричит!
Мелко-мелко задрожит коса в руке.
Смерть усядется,
 суставами скрипя.
И заплачет...
Ей,
 старухе,
 карге,
жизнь понравится
больше
себя!

Так и надо

Не поможет здесь
 ни песня и ни ласка.
В доме все воспринимают без обид:
лишь тогда,
когда качается коляска,
мальчик спит...

Слышно:
за стеной соседи кашляют.
Слышно:
ветер снег сдувает с крыш.

Я не знаю,
 что врачи на это скажут,
но, по-моему, отлично,
 что малыш,
только именем одним еще отмеченный,
примеряющийся к жизни еле-еле,
ничего пока не видевший,
трехмесячный, —
и уже стоянки
не приемлет.

Так и надо —
он увидит страны разные!
Так и надо —
задохнется на бегу!..

Я с коляски тоже
 начал странствия —
до сих пор остановиться
не могу.

«Я родился...»

Я родился —
 нескладным и длинным —
в одну из влажных ночей.
Грибные июньские ливни
звенели,
как связки ключей.
Приоткрыли огромный мир они,
зайчиками прошлись по стене.

«Ребенок
удивительно смирный...» —
врач сказал обо мне.
...А соседка достала карты,
и они сообщили,
 что
буду я не слишком богатым,
но очень спокойным зато.
Не пойду ни в какие бури,
неудачи
 смогу обойти
и что дальних дорог
не будет
на моем пути.
Что судьбою,
 мне Богом данной
(на ладони вся жизнь моя!),
познакомлюсь
 с бубновой дамой,
такой же смирной,
как я...
Было дождливо и рано.
Жить сто лет
 кукушка звала.

Но глупые карты
 врали!
А за ними соседка
 врала!
Наврала она про дорогу.
Наврала она про покой...
Карты врали!..
И слава богу,
слава людям,
 что я не такой!
Что по жилам бунтует сила,

недовольство собой храня.
Слава жизни!
Большое спасибо
ей
за то, что мяла меня!
Наделила мечтой богатой,
опалила ветром сквозным,
не поверила
бабым картам,
а поверила
ливням грибным.

Концерт

Сорок трудный год.
Омский госпиталь...
Коридоры сухие и маркие.
Шепчет старая нянечка:
«Господи!..
До чего же артисты
 маленькие...»
Мы шагаем палатами длинными.
Мы почти растворяемся в них
с балалайками,
 с мандолинами
и большими пачками книг...
Что в программе?
В программе – чтение,
пара песен
военных, правильных...
Мы в палату тяжелораненых
входим с трепетом и почтением...
Двое здесь.
Майор артиллерии
с ампутированной ногой,
в сумасшедшем бою
 под Ельней
на себя принявший огонь.
На прищельцев глядит он весело...
И другой —
 до бровей забинтован, —
капитан, таранивший «мессера»
три недели назад
 над Ростовом...
Мы вошли.
Мы стоим в молчании...
Вдруг
срывающимся фальцетом
Абрикосов Гришка отчаянно
объявляет начало концерта.
А за ним,
не вполне совершенно,
но всю запевале внимая,
о народной поем,
 о священной
так,
как мы ее понимаем...
В ней Чапаев сражается заново,
краснозвездные мчатся танки.

В ней шагают наши
 в атаки,
а фашисты падают замертво.
В ней чужое железо плавится,
в ней и смерть отступать должна.
Если честно признаться,
нравится
нам
такая война...
Мы поем...
Только голос летчика
раздается.
А в нем – укор:
«Погодите...
Постойте, хлопчики...
Погодите...
Умер
 майор...»
Балалайка всплеснула горестно.
Торопливо,
будто в бреду...

...Вот и все
 о концерте в госпитале
в том году.

«Почем фунт лиха?..»

– Почем фунт лиха?
– Не торгую
лихом.

Дверь в детство открывается со скрипом.
В который раз
мне память подсказала
пустынную дорогу до базара.
А на базаре
шла торговля
лихом!
Оно в те годы
называлось жмыхом.
Сырыми отрубями называлось
и очередью длинной
извивалось.
Оно просило сумрачно и сонно:
– Куплю буханку
за четыре сотни...
– Меняю сапоги
на поллитровку...

Оно
шагами меряло дорогу.
В дома входило,
улиц не покинув,
то строчкою:
«Оставлен город Киев...»
То слишком ясной,
слишком непдробной
казенною
бумагой похоронной.
И песни вдовьи
начинались тихо:
«Ой, горюшко!..
Ой, лишенько!..
Ой, лихо!..»
Глазами мудрецов
смотрели дети.

Продать все это?
За какие деньги?
Кто их чеканит?
Из чего чеканит?
Кто радости от горя

отсекает?..

Да, люди забывают о потерях.

Обманы терпят.

И обиды терпят.

Да, пламя гаснет.

Стоны затихают.

И даже вдовьи слезы
высыхают.

И снова людям

новый век отпущен.

Но память

возвращается к живущим.

Приходит память,

чтобы многократно

перехлестнуть календари

обратно.

Она в ночи плывет над головами

и говорит неслышными словами

о времени

суровом и великом.

Я помню все.

Я не торгую

лихом.

«Я жизнь люблю безбожно...»

Я жизнь люблю безбожно!
Хоть знаю наперед,
что —
 рано или поздно —
настанет мой черед.
Я упаду на камни
и, уходя во тьму,
усталыми руками
землю обниму...

Хочу,
 чтоб не поверили,
узнав,
друзья мои.
Хочу,
 чтоб на мгновение
охрипли соловьи!
Чтобы,
 впадая в ярость,
весна по свету шла...

Хочу, чтоб ты
смеялась!
И счастлива была.

Солнце

Это навсегда запомни ты
и людям Расскажи...

Солнце
 начинает в комнате
строить этажи.
Солнце продолжает древнюю
тихую игру —
тянет сквозь окно
 из времени
тонкую иглу.
Вот плывет игла,
раздваивается,
шире становясь.
Ветром
 с потолка сдувается
солнечная вязь.
Вот и солнечные зайцы —
эй,
посторонись! —
в зеркало,
 как в пруд,
 бросаются
головами вниз.
И, тугим стеклом отброшенные,
вмиг осатанев,
скачут
 легкими горошинами
по крутой стене.
Вся стена —
 в неровных линиях,
в крапинках стена...
Солнце
 яростными ливнями
хлещет из окна!
Не лучи уже,
 а ворохи
нитей
пламенных и сочных...

Съели солнечные волки
зайцев солнечных.

Друг

Мы цапаемся жестко,
Мы яростно молчим.
Порою —
 из пижонства,
порою —
 без причин.
На клятвы в дружбе крупные
глядим как на чуму.
Завидуем друг другу мы,
не знаю почему...
Взираем незнакомо
с придуманных высот,
считая,
 что другому
отчаянно везет.
Ошибок не прощаем,
себя во всем виним.
Звонить не обещаем.
И все ж таки звоним!

Бывает:
в полдень хрупкий
мне злость моя нужна.
Я поднимаю трубку:
«Ты дома,
 старина?..»
Он отвечает:
«Дома...
Спасибо – рад бы...
Но...»
И продолжает томно,
и вяло,
и темно:
«Дела...
 Прости...
 Жму руку...»
А я молчу, взбешен.
Потом швыряю трубку
и говорю:
«Пижон!!»

Но будоражит в полночь
звонок из темноты...
А я обиду помню.
Я спрашиваю:

«Ты?»
И отвечаю вяло.
Уныло.
Свысока.
И тут же оловянно
бубню ему:
«Пока...»
Так мы живем и можем,
ругаемся зазря.
И лоб в раздумьях морщим,
тоскуя и остря.
Пусть это все мальчишеством
иные назовут.
Листы бумаги
чистыми
четвертый день живут, —
боюсь я слов истертых,
как в булочной ножи...
Я знаю:
он прочтет их
и не простит мне
лжи!

Костер

Умирал костер, как человек...
То устало затихал,
то вдруг
вздрагивал,
 вытягивая вверх
кисти желтых и прозрачных рук.
Вздрагивал,
 по струйке дыма
 лез,
будто унести хотел с собой
этот душный,
 неподвижный лес,
от осин желтеющих
 рябой,
птиц
 неразличимые слова,
пухлого тумана
 длинный хвост,
и траву,
 и россыпь синих звезд,
тучами прикрытую едва.

Памяти Хемингуэя

Уходят,
 уходят могикане.
Дверей не тронув.
Половицами не скрипнув,
Без проклятий уходят.
Без криков.
Леденя.
Навсегда затихая...
Их проклинали
 лживо,
хвалили
лживо.
Их возносили.
От них отвыкали...
Могикане
удивлялись и жили.
Усмехались и жили
 могикане.
Они говорили странно,
поступали странно.
Нелепо.
 Неумно.
 Неясно...
И ушли,
не испытав
 страха.
Так и не научившись
бояться.
Ушли.
Оставили
 ветер весенний.
Деревья,
посаженные своими руками.
Ушли.
Оставили
 огромную землю,
которой очень нужны
могикане.

Оттуда

На том
материке
твоя звезда горит.
На том
материке
ты тоже —
материк!..
Постукивает дождь
по синеве окна.
А ты глядишь на дочь.
А ты сидишь одна.
Прохладно, как в лесу
в предутренней тиши...
Тебя я знаю всю.
(Не слушайте,
ханжи!)

Ты,
как знакомый дом,
не требуешь
похвал.
Открыта,
как ладонь.
Понятна,
как букварь...
Но так уж суждено:
и раз,
и два подряд
взглянула ты,
и взгляд —
как белое
пятно!..

Ты
тоже
материк!
Разбуженная глубь...
Я вечный твой
должник.
Я вечный твой
Колумб.
Мне
вновь ночей не спать,
ворчать на холода.
Мне снова

отплывать
неведомо куда.
Надеяться, и ждать,
и волноваться зря.
И, вглядываясь
в даль,
вовсю вопить:
«Земля!!»
Намеренно грубя,
от счастья
разомлеть.
И вновь открыть
тебя!
Открыть —
как умереть.
Блуждать
без сна и компаса
в краях
твоей земли...

И никогда
не кончатся
открытия мои.

История

История!
Пусть я —
 наивный мальчик.
Я верил слишком долго,
слишком искренне,
что ты —
 точнее всяких математик,
бесспорней
самой тривиальной истины...
Но что поделать —
 мальчики стареют.
Твои ветра
по лицам их секут...
Секунды предъявляют счет столетьям!
Я говорю от имени
секунд.

История —
 прекрасная, как зарево!
История —
 проклятая, как нищенство!
Людей преображающая заново
и отступающая
перед низостью.
История —
 прямая и нелепая!
Как часто называлась ты —
 припомни —
плохой,
когда была
 великолепною!
Хорошей —
хоть была
 постыдно подлой!
Как ты зависела
 от вкусов мелочных.
От суеты.
От тупости души.
Как ты боялась властелинов,
мерящих
тебя на свой
 придуманный аршин!
Тобой клянясь,
народы одурманивали.
Тобою прикрываясь,

земли
грабили!
Тебя подпудривали.
И подрумянивали.
И перекрашивали!
И перекраивали!
Ты наполнялась криками истошными
и в великаны
возводила хилых...
История,
гуляющая история!
Послушай,
ты ж не просто
пыль архивов.
История!..
Сожми сухие пальцы.
Живое сердце людям отвори.
Смотри,
как по-хозяйски просыпаются
бессмертные создатели твои!
Они проглатывают
немудреный завтрак.
Торопятся.
Целуют жен своих.
Они уходят!
И зеленый запах
взволнованно окутывает их.
Им солнце бьет в глаза.
Гудки ауют.
Плывет из труб
невозмутимый дым.
Ты станешь
самой точною наукою.
Ты станешь.
Ты должна.
Мы
так хотим!

«Кем они были в жизни...»

С. Красаускасу

Кем они были в жизни —
 величественные Венеры?
Надменные Афродиты —
 кем в жизни были они?..
Раскачиваясь,
размахиваясь,
колокола звенели.
Над городскими воротами
 бессонно горели огни.
Натурщицы приходили
в нетопленные каморки.
Натурщицы приходили —
 застенчивы и чисты.
И превращалась одежда
в холодный
 ничей комочек.
И в комнате
становилось теплее
 от наготы...
Колокола звенели:
«Все в этом мире тленно!..»
Требовали:
«Не кощунствуй!..
Одумайся!..
Отрекись!..»
Но целую армию красок
художник
гнал в наступленье.
И по холсту,
 как по бубну,
 грозно стучала кисть.
Удар!
И рыхлый монашек
 оглядывается в смятенье.
Удар!
И врывается паника
 в святейшее торжество.
Стекла звенят в соборе...
Удар!
И это смертельно
для господина Бога
 и родственников его...
Колокола звенели.

Сухо мороз пощелкивал.
На башне,
 вздыбленной в небо,
стражник седой дрожал...
И хохотал художник!
И раздавал пощечины
ханжам,
живущим напротив,
и всем грядущим
 ханжам!
Среди откровенного холода
краски цвели на грунте.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.